

ВРЕМЯ И МЫ

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПРОБЛЕМ**

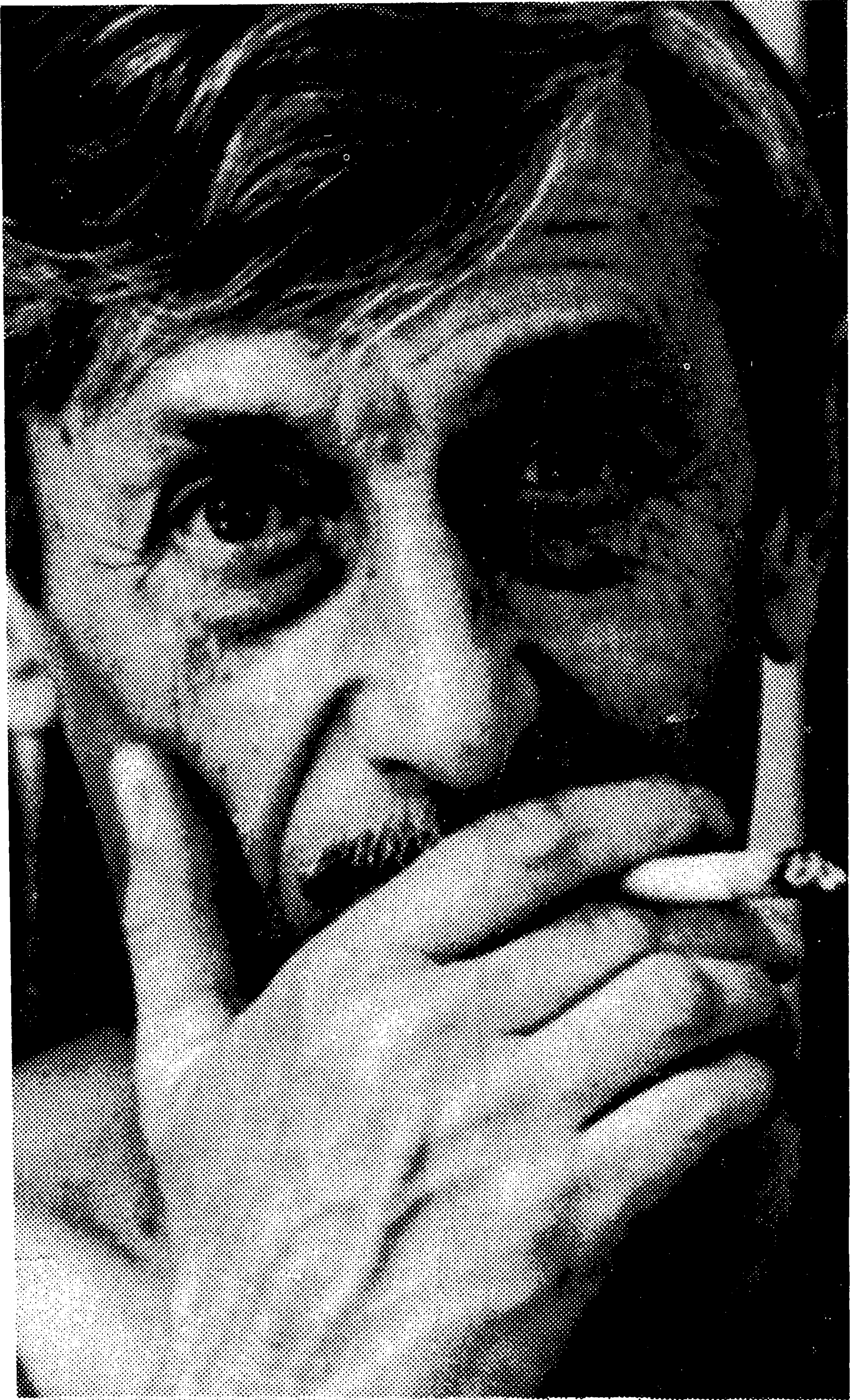
Тринадцатый год издания.

**Выходит один раз
в два месяца**

**98
1987**

НЬЮ-ЙОРК — ИЕРУСАЛИМ — ПАРИЖ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВРЕМЯ И МЫ» — 1987



ИЗ КНИГИ ДРУЗЕЙ — ВИКТОРУ НЕКРАСОВУ

Около полутора лет назад группа друзей Виктора Платоновича Некрасова затеяла книгу — в честь его 75-летия. Сейчас, когда, писателя среди нас уже нет, редакция решила опубликовать некоторые тексты из этой книги, подготовленной к печати Ефимом Григорьевичем Эткингом. Итак, «Из книги друзей — Виктору Некрасову».

ИНТОНАЦИЯ

Дорогой Вика,
грешным делом, я думал, что меня уже никто ничему научить не может — разве что в науках, но не в жизни. Ты опроверг мою самонадеянность. Ты научил меня, что интересное находится не там, где его ищут. Лет десять назад я тебя уговаривал писать сюжетную повесть с завязкой и растущим напряжением; ты насмешливо ответил, что это не по тебе и что ты будешь писать от себя, вроде дневниковых или путевых записок. «Можно ли несколько раз использовать один и тот же сюжет?» — спросил я тогда. Я боялся повторений, однообразия, стандарта. И ошибся, потому что не понимал главного: читателю интересно, если интересно рассказчику.

Ты ни к чему не привык, ни к чему не пригляделся: ты видишь дома, вывески, прически, книги, афиши, деревья.

Люди бегут мимо, не замечая, как высокопарно называется ресторан или какая над магазином смешная вывеска. Ты смотришь и видишь, видишь и удивляешься. Когда ты потом рассказываешь об этом, все оживает: никакие диковинные фигуры речи, редкостные метафоры или блестящие сравнения не нужны; нужна твоя интонация — живая, естественная, как дыхание, фамильярная или доверительная, или озорная, или сердечно-дружеская. Интонация — твое главное писательское свойство, редчайшее и драгоценное (в плохом и даже среднем переводе оно пропадает...). Интонация каждого задевает за живое и заставляет читать до конца: скучно не бывает — талантливый собеседник может позволить себе рассказывать ни о чем. Интересен его взгляд, увлекателен его голос, читателей привязывает к себе его личность; все это важнее и ценнее напряженной интриги, после которой остается пустота. А после разговора с Зевакой остается многое — и, прежде всего обаяние его непосредственности и неподдельной, простой и открытой физиономии.

В эпоху громогласия, газетного красноречия и крикливых лозунгов ты заговорил чуть иронично и с мужской намеренной грубоватостью, скрывавшей нежность. Сдержанность, противосентиментальная хамоватость остались у тебя навсегда — и в литературе, и в жизни. Больше десятилетия назад ты лежал в больнице после тяжелой операции и знал, что до смерти шага два-три; а пришедшим проведать тебя и даже приятным тебе женщинам сказал: «Ну, посмотрели? Можете уходить». При тебе декламировать неловко. Ты писал о том, что принято называть солдатским героизмом, как о будничном поведении обыкновенных ребят. Твоя насмешливая сдержанность покорила всех — тогда, в 1946 году, ты открыл твоим «Сталинградом» новую эпоху в литературе: звук правды, которая рождается на краю жизни. Было еще далеко до «оттепелей», до статьи Померанцева, даже до стихов Слуцкого, а уже правда мужской солидарности, окопных будней и солдатской дружбы слышалась в интона-

циях твоей книги.

Ты отучил нас, твоих читателей, говорить патетично, и я сейчас, когда это пишу, нарушаю твой урок. Но еще одно хочу сказать — и тебе самому, и тем, кто, может быть, прочтет эти строки. Сколько я видел людей, которые воевали храбро, а потом жили при советской власти, поджавши хвост: военное и гражданское мужество совпадают так редко, что их расхождение стало казаться чуть ли не законом. Твой пример — редчайший. Когда я в 1974 году услышал по радио твой протест против обыска, озаглавленный без ненавистной тебе патетики «Кому это нужно?», я узнал голос капитана Керженцева: спокойно-непреклонный, незлобный, насмешливый, но непримиримый.

Так вот: за цельность и сдержанную силу духа.

Твой Е.ЭТКИНД

ЗАВИСТЬ

Ты знаешь нас неплохо, и даже хорошо — верных четверть века, если не больше. Знаешь, стало быть, что мы не завистливы от природы. Так оно и есть. Никому не завидуем: ни Горбачеву, ни Лимонову, ни даже Максимову. Но тебе — да!

Завидуем твоему здоровью и молодости. Ведь и то, и другое — это, всего более, наше отношение к тому и другому. А ты просто не замечаешь хвороб и болячек, не считаешь лет. Плевал ты на них, стряхиваешь их, как пылинки с рукава. И вот ты — самый юный и самый здоровенный из всей твоей (а отчасти и нашей) бражки по обе стороны стены.

Завидуем твоему дару любить и будить любовь. (В конечном счете, это один-единственный дар, не два: укажи-ка нам не-

навистника или равнодушного, который внушал бы людям что-либо иное, кроме ответного равнодушия или ненависти!). Только произнесешь твое имя: «Вика...» — и все морды расплываются в нежнейшей и дурацкой улыбке. Да и произносить не надо: только представишь себе твои глаза и усы — и тут же лыбишься до мокроты в собственных глазах.

Завидуем твоему неисчерпаемому интересу ко всему, чего ты еще не видел, не слышал, не пробовал. Тут ты, по истине, право слово, — уникал! Кто еще, кроме тебя, во всей эмиграции способен лететь на край света и, с одинаковым энтузиазмом, зевать по сторонам на знакомых, почти как киевские, улицах Парижа или Женевы? Все остальные (и мы сами — не исключение) объелись чужеземными чудесами с уму непостижимою быстротой, один ты хранишь остроту любопытства и радость встречи.

Завидуем твоей великой естественности. Любой и всякий хоть когда-нибудь, хоть в чем-нибудь, а вынужден притворяться, что-то вымучивать, выдавливать, выделывать. А ты — всегда ты, всегда равен самому себе. И талант твой такой же — абсолютно естественный (не бойся мы громких словес — сказали бы: божественно естественный). Ты никогда не насиловал себя, не понукал «своего верного вола» (по примеру Брюсова), не нудил перышка ни вперед, ни вспять, ты писал так, тогда и столько, как, когда и сколько желала того твоя душа. И оттого стал родоначальником, основоположником, светом в окне (или, вернее, во тьме) и что там еще принято говорить в подобных случаях.

Нет, дорогой ты наш, не исчислить нам всех пунктов, по которым мы тебе завидуем!

Впрочем, еще одно добавить придется — никуда не денешься.

Завидуем твоей легкости духа, и тут не побоимся: божественной легкости. Она не имеет ничего общего с легкомыслием, она из той семьи, из того рода, к которому принадлежит бунинское «Легкое дыхание». Она из самых редких и самых драгоценных даров свыше, она фундамент и стано-

вой хребет твоего счастья, а ты — счастливчик, ты жил и живешь так счастливо, как один из миллионов, а может, и из миллиардов. Но она же — твой пропуск в самый закрытый из всех закрытых клубов, в клуб великих артистов. Пастернак в канун войны написал про дроздов:

Они в неубранном бору
Живут, как жить должны артисты.
Я тоже с них пример беру.

«Должны», «беру пример» — не то! Это как лысина: или есть, или нету. Домогаться бесполезно, так же, как бесполезно втирать в лысину всякую дрянь. У тебя — есть: от Бога, от судьбы, от природы, называй, как хочешь. И оттого ты артист — и в написанном, и в прожитом.

Мы не просим у тебя прощения за нашу темную зависть. Чего уж тут. Но мрак нашей зависти чуть просветляется догадкой, что ведь и нам тоже кое-что обломилось, и мы тоже вроде бы чуть-чуть удачники. Потому что насколько беднее, скуднее, унылее мы жили бы, не будь в нашей жизни дружбы с тобой.

Спасибо за нее — тебе и судьбе.

Братья МАРКИШИ: Давка и Симок

МСЬЕ НЕКРАСОВ!

Однажды Виктор Некрасов увидел портрет своего любимого писателя О'Генри — и удивился: какой-то кассир в накрахмаленном воротничке, а не писатель! Если бывают писатели, похожие на свое творчество, и писатели, совершенно (по внешности) чуждые собственному творчеству, то он, Некрасов, решительно принадлежит к первым. Писатель-антипрофессионал, писатель-«зевака» — мы любим его, прежде всего, за удивительное совпадение его самого

и его творчества. Он образец чистого «любительства» в искусстве, т.е. такой искренности, что, право же, не отличишь пишущего от написанного!

Жизнь без юмора для него непредставима. При этом сама жизнь — от Мамаева Кургана до рю Ла Фонтэн — не очень-то старалась «поставлять» материал для юмора. Но юмор не в материале жизни, а в ее потребителе. Виктор Некрасов — хороший, очень талантливый потребитель той тонкой, хрупкой, часто мрачной материи, которую именуют «жизнью».

Хотя сожаление это совершенно нелепо, я жалею, что не видел его мальчиком в коротких штанишках на киевских улицах, учеником 43-й трудовой школы в эпоху «Дальтон-плана», когда программа по литературе сводилась к Радищеву и Ал.Гастеву, студентом театрального училища, без ума от Ле Корбюзье, младшим лейтенантом под Сталинградом, счастливым лауреатом Сталинской премии.

Я познакомился с ним лишь в 1962 году, когда он приехал в Париж с К.Паустовским и А.Вознесенским. Я только что прочел тогда «Киру Георгиевну» и после нашей встречи написал свою первую статью — о нем. С тех пор я видел его много раз — в Москве и в Париже, в Женеве и в Венеции, в трусиках и в кимоно (но при галстукe — никогда!). Места меняются, а Виктор Некрасов все тот же: блестящий непрофессионал жизни.

Он слишком ленив, чтобы вести дневник. Но, говоря откровенно, я не думаю, чтобы он нуждался в дневнике. Дневники нужны пуританам и профессиональным «великим людям». Слава Богу, он — не то и не другое.

Из всех моих встреч с ним самая незабываемая была в Лозанне, у «дяди Коли», его дяди-гляциолога. Жизнь в эмиграции начиналась, маленькая печальная музыка уже звучала в ушах, но как бодро и молодежavo выглядел Вика под градом упреков дяди, идеалиста-прогрессиста! И тут я понял: а ведь нечего жалеть, что я не видел его ни в Киеве, ни под Сталинградом, ни в день вручения Сталинской премии. Он не изменился! Не изменился его голос. Мальчик

Вика, юноша Вика, Вика — начинающий писатель стоит сейчас на синем фоне швейцарского озера.

Голос не изменился, но глаза беспокойны: они жадно глотают все вокруг. Кто еще в нашей современной литературе умеет так видеть? Просто видеть — с террасы «Эскуриала», на Гар дю Нор? Он удивительный зритель нашей эпохи. Зритель Киева, Москвы, многих и многих мест, но прежде всего — для меня — Парижа.

Он поистине принадлежит к той «Парижской школе», которая дала нам Дюфи и Делоне в живописи, Мак-Орлана в литературе. Он акварелист Парижа.

Виктор Некрасов не любит барьеров. Ему хочется побывать по обе стороны стен, океанов, всего того, что разъединяет людей. Он — самая гениальная реклама туризма. В этом, по-моему, вся его политическая программа: «отурещение» планеты. Умная и полезная программа.

А самое поразительное в нем — и, может быть, он это не совсем сознает — вот что: сам он — по обе стороны европейской литературы. Хотя его французская лексика не очень-то обогатилась за последние семьдесят лет, он — и французский писатель. По духу, по юмору, по манере топтать тротуары Сен-Жермена и ловить неуловимый «эспри» парижской поэзии. Французы сами еще не знают об этом. Узнают, я уверен.

Дорогой Вика, ты не любишь больших опусов, это всем известно. За одним исключением: «Войну и мир» ты читал уже семь раз, — и мы желаем тебе еще семь раз перечитать твою и нашу любимую книгу. Ну, и еще «Три мушкетера», хотя я точно не знаю, сколько раз ты их читал, может быть, семижды семь. Наши академические тома — нет ни малейшей надежды заставить тебя в них заглянуть. Ну, что делать! Вычеркиваем тебя раз и навсегда из куцого списка нашей элиты. Зато ты, без сомнения, почетный член великой братии читателей Дюма. Не тоскуй по своему дому. Он здесь и везде, в некоей вечной Гаскони, в самом тебе...

ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО

Весной 1956 года редакция журнала «Иностранная литература» решила напечатать роман Ремарка «Время жить и время умирать». Публикации зарубежных авторов полагалось тогда сопровождать предисловиями или послесловиями именитых советских писателей.

Предисловие к Ремарку попросили написать Виктора Некрасова, которого еще недавно проработчики обвиняли в «ремарковщине». Он колебался: говорил, что читал только два ранних романа — «На западном фронте без перемен» и «Возвращение», готов прочесть и рукопись перевода. Но ведь Ремарк написал еще много другого...

В редакции знали, что я читал все книги Ремарка, которые в библиотеке Иностранной литературы были лишь недавно переведены из «спецхранения» на общедоступные полки. В те месяцы все шире расходились круги, вызванные докладом Хрущева «О культе личности». И, хотя я еще не был реабилитирован, меня попросили обстоятельно пересказать Виктору Платоновичу содержание нескольких романов Ремарка.

Встреча была назначена в ресторане ЦДЛ. Два дня я готовился к ней и шел, основательно робея. «В окопах Сталинграда» я прочитал в тюрьме. Перечитывал несколько раз и твердо убедился: эта книга правдивее, добрее, лучше всего, что написано о войне. И вот предстояло познакомиться с автором.

Виктор Платонович сидел за столиком с худощавым юношей и пил водку. Я почтительно представился.

— Садитесь. Этот товарищ камарадо — переводчик, командированный из ЦК. Через час нам нужно давать интервью итальянскому корреспонденту какой-то не то лево-право-коммунистической, не то лево-социалистической газеты. А пока я буду вас интервьюировать.

Едва сев, я начал боромотать, что горд и счастлив и что-то про лучшую военную книгу.

— Ладно, ладно, слышали. А вы на фронте были? Так, так, все ясно. Тогда какого же хрена, товарищ майор, ты говоришь, что «лучшая военная книга». Ведь ты должен знать, что в ней только часть правды.

— Пусть часть, но ни слова брехни...

— Пожалуй... Но часть правды — тоже брехня. А раз ты фронтовик, то всухую разговаривать не положено. Дорогой камарадо, распорядитесь насчет поллитра.

Мы пили за погибших товарищей, за то, чтобы, наконец, писать и говорить полную правду...

Я пытался что-то рассказывать о Ремарке.

— Так, значит, эту войну он знает только по газетам, по рассказам... Скажи честно, этот роман «Жить-умирать» сравним с тем, первым, «На западном фронте», или пониже, пониже будет? Нет, нет, разумеется, я считаю, что нужно публиковать, издавать. Он честный писатель... А как ты считаешь — великий или середняк?.. Не можешь судить? Так какой же ты к хренам собачьим критик?.. Впрочем, наверно, честный критик должен именно так признаваться. А то у нас привыкли ярлыки лепить.

Лекция-рассказ о Ремарке не получалась. К столику то и дело подходили приятели и знакомые Некрасова: одному он подносил чарку, с другим разговаривал сухо, иногда матерно. А я глядел, слушал, хмелел и очень радовался. Особенно радовался тому, что он так похож на свои книги. Я узнавал голос, который слышал, читая «В окопах» и «В родном городе». Приятен был мягкий киевский говор. И уже в первые минуты я ощутил и понял: он открыт настежь, ничего не прячет, говорит именно то, что сейчас думает, именно так, как чувствует. И когда он ругался, это было тоже естественно... всплывали словесные пласты, которые наслаивались в окопах.

Юный переводчик тарачился на него влюбленно. Тоже ругнулся. Некрасов цыкнул:

— Не попугайничай. У тебя для таких выражений во рту нет места. Не будь пижоном.

Я пытался уговорить его отложить интервью.

— Разве ты не чувствуешь, что перебрал? Я меньше выпил, а у меня уже уши горячие, и в голове пульсы.

— Не робей, майор. Ты политработником был, только словами стрелял, фрицам ума вкладывал. А мы воевали и трезвыми, и пьяными одинаково. Тебе и на передовой меньше, чем нам, водки доставалось. Меня никаким спиртом не возьмешь. А сейчас я начальник. Едем без никаких.

В такси я стал трезветь от страха. Боялся, что предстоит скандал: международные осложнения, ущерб достоинству советского писателя. А у меня еще паспорт с «ограничениями», без московской прописки. Переводчик то задремывал, то просыпался очень радостный: «Едем без никаких...». Не мог же я их покинуть; не мог и не хотел. Все страхи были слабее, чем симпатия, любопытство и гордость — помогаю Виктору Некрасову.

В гостинице переводчик позвонил из вестибюля: «Очень ждут, очень радуются».

Итальянец был тоже очень молодой, высокий, тонкий, большеглазый, а жена маленькая, худенькая, кудрявая, совсем девчонка. Они старались говорить по-русски — учились несколько месяцев перед поездкой. Говорили беспомощно, смешно, но очень приятно. Немецкого они не знали, и я стал наскребывать английские и французские слова, по-итальянски знал только песню «Бандьера росса». Наш переводчик весело лопотал с ними, но переводить забывал.

Виктор сразу же очень решительно сказал:

— Вы хотите интервьюировать — очень хорошо. Согласен, но только сначала спрашивать буду я. Хочу знать, с кем разговариваю. А что необходимо для хорошей беседы? Нас тут пятеро — значит, два поллитра. Объясни ему, камарадо, по-камарадски, что такое два поллитра.

И корреспондент, и жена смеялись. Пока переводчик звонил, заказывал водку, мы пытались разговаривать на этом салатном жаргоне из разноязычных слов, междометий,

литературных имен. Они восклицали: «О, Толстой! О, Достоевский! О, Тургенев! О, Чехов! О, Горький!..» И мы старались не отставать: «О, Данте! О, Петрарка! О, Бокаччо! О, Гольдони!..»

Официант принес водку и весьма скудную закуску — ломтики сыра и белой булки.

Виктор начал с вопроса: «Что знает синьор камарадо про двадцатый съезд, про доклад Хрущева и что думает про Сталина»

Журналист отвечал многословно, отчаянно жестикулируя и кашляя — поперхнулся водкой, — жена звонким голоском вставляла замечания. Переводчик стал возражать им, забывая переводить.

Все же я понял, что наш собеседник, корреспондент «Аванти», — левый социалист, вообще — противник коммунистов: «они — доктринеры, фанатики, догматики». Но сторонник единого фронта. Он против культа. Сталин делал ошибки, но Хрущев не прав. Его доклад — сенсация, вредная для международного рабочего движения: Сталин — символическая фигура для всех антифашистов. Такая критика помогает реакции.

После этого начался долгий, оглушительно шумный спор. Приносили еще водку. Я тоже кричал и очень радовался, что мы с Виктором оказались единомышленниками и вдвоем старались объяснить молодым, что самое главное — правда и никакое рабочее движение, никакой социализм не могут оправдать лжи и злодейств. А Сталин не только ошибался, но злодействовал и лгал, и сталинский культ вреднее, опаснее любой реакции.

Наш переводчик упился раньше всех и орал громче всех: «Сталин — бандит, фашист!»

Интервью так и не состоялось. Не знаю, удалось ли нам в чем-то убедить наших оппонентов, но помню, что мы очень дружно пили за Россию и за Италию, за Москву, за Рим, за Милан, за Киев, пели «Бандьера росса» и долго прощались, обнимаясь, целуясь, и клялись в дружбе.

...В последующие тридцать лет мы встречались с Виктором Платоновичем в Москве, в Киеве, в Дубултах, в Переделкино. Потом в Париже, в Кельне, в Берлине. Встречались куда реже, и разговаривать удавалось куда меньше, чем я хотел.

За эти годы я прочитал множество хороших и очень хороших книг о войне, написанных отечественными и зарубежными авторами в прозе и в стихах. Но они не потеснили в душе и не затмили в памяти ту, самую первую и навсегда любимую «В окопах Сталинграда», — запечатленную художником правду о войне, которую мы не можем и не хотим забывать, чье горькое дыхание и сегодня живет в нас.

Сорок лет спустя после встречи с этой книгой и через тридцать лет после первого знакомства с Виктором Некрасовым я люблю их сильнее, чем раньше. Такая любовь — как хорошее вино — крепчает с годами.

Лев КОПЕЛЕВ